

Р. С. Черепанова
СОВЕТСКИЙ ОПЫТ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПАМЯТИ¹

ЧЕРЕПАНОВА Розалия Семеновна - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Южно-Уральского государственного университета. E-mail: rozache@mail.ru

Автор анализирует собранные ею биографические интервью с представителями южноуральской интеллигенции. Респонденты четко обозначили как «переломные» в своей жизни и в жизни страны период Великой Отечественной войны и «постперестроечные» 1990-е годы. Сюжетное изложение биографий осуществлялось в рамках одной из четырех возможных форм: романа, трагедии, комедии или сатиры. При этом выявлена существенная зависимость очертаний «большой истории» от выбранной респондентом сюжетной формы.

Ключевые слова: пространство памяти, жизненные истории, интеллигенция, переломные события.

Бум «устной истории» – создававшейся как прорыв к «подавленной памяти» угнетенных групп – в нашей стране пришелся на период социальных и политических разломов (конец 1980-х - 1990-е годы). Крайне востребованные в то время разного рода «откровения» и «разоблачения» в полной мере отразились в собранных материалах oral history. Начало XXI века, однако, принесло России новый политический поворот: после эпохи перемен было объявлено о пришествии эры «стабильности». На шестом году этой стабильности мною был начат проект по записи устных биографических интервью с представителями провинциальной (южноуральской, в частности) интеллигенции. Надо сказать, что с постсоветской интеллигенцией как группой в русле устной истории прежде никто целенаправленно не работал – по-видимому, ее просто не считали «пострадавшей», «угнетенной» или «маргинальной». Однако мне работа именно с интеллигенцией показалась интересной в силу ее профессиональной обязанности хранить и ретранслировать не только официальные дискурсы, но и ценности культуры, и историческую память – разумеется, сформированную под воздействием тех же официальных дискурсов. Всего мною было записано 132 биографических интервью – 97 женских и 35 мужских.

Последовательно пересказывая события своей биографии, респонденты довольно четко обозначили как «переломные» в своей жизни и жизни страны две эпохи: период Великой Отечественной войны и «постперестроечные» 90-е («оттепельные» 60-е и «перестроечные» 80-е в разряд «великих переломов» не попали).

© Черепанова Р. С., 2011

¹ Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 гг.). Мероприятие 1».

Что касается войны, то она приобрела в коллективной памяти характер почти мифологического хронораздела. Многие рассказчики послевоенного поколения (от 1960 г.р.) вообще не знали, что было с их семьей «до войны» (и это не всегда следы реальной катастрофы, стершей целые семейные миры, хотя есть и такие примеры). Может быть, для этого поколения это «дрейфующая лакуна» [1]. То, что случилось до войны, выполняет в биографических историях значение Пролога, предварительной расстановки персонажей, приуготовления сцены и героев, а сам промежуток от 1914-го года до 1941-го предстает периодом почти космогонической борьбы неких смутных стихий, борьбы, которую лучше всего было, конечно, просто где-то тихо *пересидеть*.

Как отмечают исследователи, сюжеты об «отцах-основателях», «золотом веке», «глубоком горе», «ключевом испытании», и, наконец, о «неизбежном великом возрождении» входят в число обязательных мифов нации [2; 9]. Советская эпоха, стершая многие старые мифы, неизбежно должна была произвести новые. «Революция» стала на место «мифа основания» (подвинув в этом качестве славянофильских «варягов» или имперского «Петра Великого»), война – на место «ключевого испытания». Однако в коллективной памяти современного российского общества «моментом основания» предстает уже история о Великой Отечественной (предложенный «сверху» в этом качестве «1612-й год», очевидно не подошел). Поэтому видеть в сегодняшней мифологизации войны только «имперскую практику» и манипуляции власти не вполне справедливо – эту работу проделывает само общество, и оттого все попытки ей противостоять воспринимаются болезненно.

Последовавшие за Великой войной Великие «шестидесятые» и, в частности, «знаковый» 1968 год уже сейчас называют Великим мифом², посредством которого мир осмыслял происходящие в нем экономические, социальные и технологические перемены. Этим обстоятельством осмысления, помимо прочего, объясняется высокая роль интеллектуалов в феномене «шестидесятых». Логично предположить, что, ориентируясь на старый добрый мотив «бунтарской молодости» и сегодняшнюю практику романтизации «шестидесятых», те интеллигенты, чья молодость пришлась на эпоху «шестидесятнических революций» (политической, технологической, сексуальной), скорее всего, склонны преувеличивать собственную «оппозиционность», «революционность», «протестность».

В советскую мифологию шестидесятых протестность попала лишь как «взгляд со стороны» (и, боюсь, как взгляд именно со стороны власти). Лишь двое мужчин и четверо женщин из моих респондентов (а ведь многие из них в это время учились или стажировались в центральных вузах) обмолвились вскользь о диссидентстве, самиздате, освобождении нравов и прочих сопутствующих вещах, но как о чем-то постороннем, в чем сами не участвовали и от чего дистанцируются. Лишь один рассказчик (Б1, 1928 г.р.) очень скупое сообщил о том, что ему пришлось пострадать из-за некой истории, как-то связанной с темой «оттепели», с его «личностной свободой» и амбициями (*«Ну, что такое наш институт - конечно, не МГУ. И, тем не менее, элемент богемы, элемент даже свободы какой-то, личностной, мировоззренческой...»*), в результате чего все *«от него отвернулись»*. Другие же открыто или подспудно противопоставляли гражданскую и политическую активность серьезному, «настоящему» делу, «работе». – *«Некогда было думать об этом, я всецело была занята работой»* (рассказчица К2, музыкант, преподаватель, 1940 г.р.). Сама «оттепель» описывалась в рамках сегодняшнего официального дискурса:

² См.: Мертес М. 1968-й как миф // Неприкосновенный запас. 2008. № 4.

Слышали мы, конечно, что наши, там, в Анголе, наши во Вьетнаме, наши в Афганистане, но всегда это тихонько, шорох такой, и все... Что-то читали, на машинке распечатанное, что-то передавалось, в частности, Алилуевой записки, еще что-то было такое. Книги давали почитать на ночь, помню, Солженицына так давали, а вообще, в то время очень популярны были толстые журналы - "Знамя", "Новый мир", "Иностранная литература", кипы у нас были этих журналов, ну, и там тоже что-то просачивалось, какие-то моменты. Собственно, когда началось разочарование в нашей жизни, начало раздражать серое уныние на улицах и красные с белым плакаты, на которых написаны были коммунистические лозунги, это уж совсем казалось как-то тупо, совершенно невозможно воспринимать в той жизни, в которой мы жили (K2).

Все, упомянутое рассказчицей, принадлежит к «легальным» темам и включено в поле нынешнего официального дискурса, тогда как темы польских или чехословацких событий, сексуальной революции в СССР явно находятся на его окраинах и весьма слабо освоены. Рассказчики просто не знают, что о них говорить. Может быть, еще и поэтому (помимо естественного нежелания посвящать посторонних в свою личную жизнь) тема освобождения нравов в СССР и сегодня ставит рассказчиков в тупик. «Было, было», – скупно признают они, но что именно было: разговоры о начавшейся свободе отношений или сама свобода отношений? Одна из рассказчиц вспоминала:

Я помню, когда была в экспедиции или где-то в Рязани, кто-то мне из их интеллигенции сказал: «Вам не кажется, что свобода нравов появилась?». Но та свобода нравов по сравнению с нынешней – это вообще, как говорят в Одессе, две большие разницы. Тогда, казалось бы, такая демократия, всплеск такой свободы, и я еще, помню, кому-то говорила: «Знаете, все должно устояться, не волнуйтесь, это лишь начальный этап, когда выплескивается все». Я очень хорошо помнила, что и у Ленина и у Энгельса об этом говорится: когда начинаются революционные потрясения, то в первую очередь почему-то именно сексуальный уровень страдает (M2, 1938 г.р., преподаватель вуза).

В русле официально допущенных схем располагаются и общие оценки советского режима. Если критика, то за «жертвы», дефицит и экономическую скудость, «серость» и отсутствие «свободы», если одобрение, то за «нравственность» и «справедливость». Возмущает респондентов в советском строе именно то, что в разные времена было почти официально дозволено и модно критиковать – репрессии и общепит, например. Любопытно, что демонический образ Ленина, характерный для периода 1990-х годов, в некоторых интервью задним числом переносится на настроения 1960-х:

Уже в конце шестидесятых годов я познакомилась с диссидентскими взглядами, немножко это меня коснулось. Мы тогда изучали изобразительное искусство, и была у нас одна юная преподавательница, очень, по-моему, диссидентски настроенная, она очень много нам рассказывала именно о диссидентском искусстве, например, об одной картине, осуждающей тоталитаризм: Ленин на трибуне, сам весь синего цвета и солдаты со штыками в шапках, такой яркий образ тоталитаризма; эта картина заняла какое-то место на выставке в Италии (K2).

Даже отдельные признания в «неприятии» советского режима могут быть прочитаны не как проявления оппозиционности, а как преломление того же классического дискурса, постоянно указывающего интеллигенции на ее аполитичность:

Мне не нравился комсомол в принципе, как организация, за исключением некоторых, может быть, моментов... Но я как-то всю жизнь инстинктивно старалась держаться в стороне. Взносы я, например, не платила, меня за это страшно ругали. Из комсомола я выбыла автоматически: потеряла комсомольский и не стала его восстанавливать (П2, научный работник, Челябинск, 1948 г.р.).

Когда респондентов просили припомнить события их реальной жизни 1960-х годов, а не описать некую «общую картину» и «общие настроения», то получали зарисовки совершенно рядовых дел, забот и конфликтов, в которых при всем желании трудно увидеть политическую или «идейную» подоплеку. У меня поневоле иногда просыпалось крамольное сомнение в том, было ли все это вообще где-то, кроме узких около-официальных сфер: диссидентство, гласность, общественная активность и самодеятельность:

В Ленинграде диссидентство выглядело совсем не диссидентством. Хотя я, наверно, зря это говорю. Но, во всяком случае, когда я уехала, я уже узнала, что юноши, которые учились на курс старше нас, они уже закончили и создали кружок по изучению наследия марксизма-ленинизма, и двух из них вообще посадили в тюрьму, один отделался какими-то выговорами, хотя потом он стал о-очень известным философом, с мировым именем (МЗ).

Все выглядит так, будто для наших респондентов весь «шестидесятнический бунт» сводился почти исключительно к чтению книг – Маркса, Ленина, Сталина, Солженицына. Причем советские люди довольно скоро решили, что такая «свобода» ненормальна и долго продолжаться не может:

Я еще побаивалась, что это в Москве просто слухи; слухи везде – в коридоре, на кухне, на улице, в магазине; и я еще думала: ну до каких пор москвичи будут питаться слухами. Казалось, что все-таки это не так страшно, и, в общем, все будет более или менее нормально. Ну, а потом, когда началось и с книгами, и с выставками, и с демонстрациями на Красной площади, и с сидением – я же училась вместе с Якиром, он тоже попал в эту кашу. А в провинции это менее болезненно переживали (М2).

Ясно, что ни в каких событиях вроде «демонстраций на Красной площади» ни сама рассказчица, ни ее знакомые не участвовали и знают о них только понаслышке из официальных или полуофициальных, или неофициальных, но допущенных к существованию каналов (те же слухи).

Вернемся к тому, как схематично описывал свою загадочную «историю протеста» рассказчик Б1: оправдывая скудость событий «оттепели» в своем вузе, он заметил, что это, конечно, не МГУ, предполагая, что в МГУ протест действительно шел с размахом; но сам рассказчик об этом наверняка не знает и в МГУ в то время не бывал. Рассказчица МЗ, напротив, училась в эти годы в МГУ, рассказчицы М2, М1 и КЗ – в ЛГУ, в ЛГПИ и в

Библиотечном институте им. Крупской, но и они тоже не называют никаких реальных фактов, отделяясь туманными намеками: «было, было». Да и сам Б1 так и не открыл, из-за чего ему пришлось распрощаться с мечтой об аспирантуре и несколько лет отсиживаться в глубинке: виной ли тому действительно некий идейный протест или некий банальный профессиональный или личный конфликт (как в «протестной» истории другой рассказчицы – Т1, 1938 г.р.), мы не знаем. Характерно, что и Б1, и Т1 закончили свои «протестные эпизоды» заявлением, что не хотели бы об этом вспоминать.

Итак – шестидесятые превратились в миф, сконструированный из обрывков собственных воспоминаний и осколков официальных идеологий, причудливо сменявших друг друга в последние десятилетия. Стремление попасть в доминирующий официальный дискурс – это не только многолетняя привычка к осторожности, почти на генетическом уровне закрепленная у всех обитателей страны, но и естественное человеческое стремление «быть правильным», современным, уверенным в завтрашнем дне, быть «со всеми» и с государством.

Касалась ли речь настоящего или (советского) прошлого, многие рассказчики излагали именно «подсказанную» им сегодня и, возможно, действительно усвоенную ими картину. Они описывали свое прошлое так, как на него «указали» смотреть кинофильмы, книги, массовые праздники последних десяти лет, переживали собственное прошлое так, как его, по закрепленным стереотипам, *надо было* переживать, как *надо было* страдать от режима или тосковать по нему.

Трудно удержаться от соблазна найти самое простое объяснение загадкам памяти, объявив, что наши воспоминания всегда неизбежно перемешаны с псевдовоспоминаниями, навязанными деятельностью различных агентов, а также самим фактом предписанного в последние десятилетия «осмысления» и «переосмысления прошлого»³. Можно вести речь даже о том, что любые воспоминания вообще «предписаны» и «навязаны»⁴.

Но «шестидесятые» оказались забыты во многом еще и потому, что померкли в людской памяти перед бурными «девяностыми». «Шестидесятые» стремились забыть, как собственные «ошибки», иллюзии и «заблуждения», приведшие к кратковременному обольщению риторикой перестроечных «демократов». В результате такого «забвения» в катастрофе «девяностых» естественным образом оказывались виновными политики, но не общество, не интеллигенция.

О самих «девяностых» активно вспоминали все опрошенные, причем неизбежно с гордостью: мы их пережили! Почти так же гордо и подробно рассказчики повествовали только о своих способах выживания во время войны.

На моменте современности сегодняшняя официальная стилистика так тесно сближалась с брежневской, что некоторые рассказчики буквально проторяли старые тропы, считая их вполне актуальными:

Политика нашего государства мне лично очень нравится. Политика такова, что старается и делает для людей все, чтобы людям жилось легче, в материальном

³«Чаше всего я вспоминаю о чем-то потому, что к этому побуждают меня другие, что их память помогает моей памяти, а моя память опирается на их память» [6].

⁴ В.В. Нуркова, вслед за Дж.Б. Валласом, напоминает, что максимально значимые автобиографические воспоминания подчиняются законам социальных стереотипов, господствовавшим в момент запечатления события [4].

отношении много помощи есть от государства и наши политики ведут народ все-таки к лучшей жизни, конечно же, к лучшей жизни (Б12, 1950 г.р.).

К политике относимся положительно, принимаем все решения, постановления партии, стараемся их выполнять, в выборах участвуем постоянно, не пропускаем никогда (Б22, 1939 г.р.).

Брежневский величаво-эпический стиль, где страдания всегда вели к высокой цели и неизбежно венчались пафосным утешением, перерос в державно-морализаторский, отдающий православием-самодержавием-народностью слог, утвердившийся в России с начала 2000-х. Разоблачительная демократическая риторика конца 1980-х – начала 1990-х годов (корни которой, может быть, уходят еще к разоблачительным «сталинским» процессам) осталась, но поменяла свой объект, во многих случаях обратившись против самих же вчерашних «разоблачителей-демократов».

Не менее интересным, чем стилистический, мне показался сюжетный анализ записанных жизненных историй, при котором я сочла продуктивным опереться на известную работу Х. Уайта, согласно которой всякое сюжетное изложение истории (в том числе, истории собственной жизни) осуществляется в рамках одной из четырех возможных форм: романа, трагедии, комедии или сатиры; и от выбранной формы зависит комплект «событий», которые окажутся включенными в повествование в качестве фактов. При этом роман «в своей основе есть драма самоидентификации», «драма триумфа добра над злом», сатира – исходящая из представления о том, «что мир стал стар», «это драма обреченности, подчиненная опасению, что человек в конечном счете есть лишь скорее пленник этого мира, чем его господин»; комедия осуществляет финальное «примирение людей с людьми и их миром и обществом», поскольку представляет «общественные условия» как «более чистые, нормальные, здоровые», а трагедия описывает положение человека перед противостоящими ему силами, некими вечными условиями, в которых он обречен жить. Трагедийное и сатирическое видение мира, согласно Уайту, равно исходят из представления о некоей вечно сохраняющейся структуре, о «вечном возвращении того-же-самого в различном», тогда как роман и комедия подчеркивают возникновение новых сил или условий [5].

Посмотрев под этим углом зрения на устные автобиографические рассказы, можно, в самом деле, заметить существенную зависимость очертаний «большой истории» от выбранной рассказчиком сюжетной формы [8].

Так, драма самоидентификации и преодоление чувства вины перед репрессированной матерью составляют сюжет в жизненном романе рассказчицы ТЗ (инженер, 1936 г.р.); на протяжении всей беседы она снова и снова возвращается к этой теме, и путь от расколотого «я» к целостному принятию себя, своих родителей и своей страны становится главной темой ее интервью.

В основном я жила с теткой, которая мне заменила и маму, и папу, и всех, которая меня поставила на ноги, выучила, ну, и, конечно, то, что я была самая младшая в семье – от меня очень многие вещи скрывали, очень, очень долгое время я даже не знала, где у меня родители. Я не понимала. Особенно вот это тяжело переживалось в первом классе. Это был 42-й год, шла война, дети, как правило, хвастались своими папами – у кого летчик, у кого связист, у кого, там, пулеметчик. Спрашивают: а кто у тебя папа? Я молчу, потому что я не знаю. Прихожу домой – в слезы: где папа, почему у всех есть папа, а у меня нет, почему я не знаю? Я не знала,

где моя мама, кто такая моя мама, почему у всех она есть, а у меня ее нет. Когда она вернулась через 8 лет, которые провела в Темниковских лагерях, это в Мордовии, специальные женские лагеря, у нее была большая трагедия, я считаю – потому что если старшие дети ее помнили, с ней общались, то я ее игнорировала полностью, для меня она не существовала, для меня это был чужой человек. И этот лед отчуждения у нас прошел, я бы сказала, не сразу, это прошло много лет, прежде чем я начала к ней оттаивать....

Многие годы эта женщина отработывала свою детскую боль, в итоге возглавив местное мемориальное общество, занимающееся судьбами репрессированных женщин. Работа эта сделалась для нее смыслом существования. Перед нами очевидный, по Уайту, личный «роман искупления», и «большая история» образует к нему соответствующие декорации в виде последовательной либерализации государства и гуманизации общества.

Нужно отметить, что отдельные факты, противоречащие общей «фабуле», могут случайно проникать в рассказ и вступать в противоречие с доминирующей концепцией, но противоречие это, как правило, рассказчиком не сознается. Факты, которые могут совсем разрушить концепцию рассказа, обычно респондентом просто не озвучиваются и могут стать доступными интервьюеру только случайно.

Жизнь как комедию рисует интервью с рассказчицей Е1, 1929 г.р., преподавательницей педагогического колледжа. В самых горестных событиях она умудряется разглядеть позитивное, жизнеутверждающее начало. Даже о войне она вспоминает именно таким образом. В ее рассказе нет трагических интонаций или пессимистических умозаключений, трагические факты заретушированы или проскакивают в мимолетных проговорах; а способность автора удивляться и радоваться жизни, подсмеиваться над собой внушает неподдельное уважение. Все, что могло бы нарушить это оптимистическое восприятие жизни, не вошло в персональный «сценарий» нашей героини. «Он был боцман корабля, – скупко сообщает она, например, о муже. – Потом пропился и стал никем. Не надо о нем вспоминать, не хочу, не хочу вспоминать о нем».

Трагедия, напротив, сфокусирована на негативном и отмахивается от всего, что мешает ее переживаниям. Трагедией нереализованных амбиций, убеждением в фатальной невозможности счастья веет от рассказа учительницы У11 (женщина, 1961 г.р.). Даже учителем она стала не по своей воле, а потому, что «так повернула судьба». Изначально хотелось большего:

В 1978 году поступила в ЧелГУ, в котором сначала не было педагогического уклона, а в начале 80-х вышло постановление правительства о том, чтобы сделать ЧелГУ педагогическим университетом. Бросать учебу было бессмысленно, поэтому пришлось учиться дальше.

В начале 1980-х годов действительно шла дискуссия о возможном закрытии названного учебного заведения, но довольно быстро подобные разговоры прекратились, более того, в 1990-х годах университету удалось даже существенно повысить свой рейтинг; с другой стороны, выпускники всех университетов, не только ЧелГУ, чаще всего попадали именно в школы. Иными словами, ни о какой «внезапной» и сокрушительной перемене обстоятельств, перед которыми рассказчица рисует себя такой пассивной, говорить не приходится. По-видимому, ей просто не хочется проговаривать (может быть, даже для себя

самой) подлинных причин того, почему после окончания университета ей не удалось остаться в науке. Но вся ее судьба подается ею как одна большая обида: на «обстоятельства», на мужа, частые командировки которого укрепили броню ее человеческого одиночества. Разве можно после этого удивляться тому, что история ее семьи и страны в целом подается ею с той же трагической интонацией – ведь повсюду «ложь», обман. Ее главное чувство к родине и государству – все та же обида (и уже к этому чувству подбираются соответствующие обстоятельства):

Мое поколение выросло в эпоху «оттепели», после страшных 40-х и жестоких 50-х, и в эпоху «застоя». В 60-х прошло мое детство. Может быть, поэтому на всю жизнь осталась романтиком... Очень чувствую чужую боль; наверно, впитано это было с детства, от отца, по судьбе которого тяжело прошли 30-е годы. Он тогда лишился отца. И 40-е, военные – контузия, плен, а затем пожизненное чувство вины и загнанности. Сорок лет я слышала, как отец почти каждую ночь во сне ходил в атаку, кричал, и защищал меня и маму от фашистов, а смотря советские фильмы о войне, скрипел зубами и горько вздыхал, видя экранную ложь. Перед ним были закрыты двери в партию, на руководящую должность, выезд за границу. Даже в Калининград не пустили бросить родной земли на братскую могилу, где похоронен его брат.

Мужской вариант трагедии неудовлетворенного честолюбия и личных обид, перенесенных на обстоятельства «большой истории», представляет рассказчик А5 (юрист, 1946 г.р.). Несмотря на внешнюю состоятельность, о которой он, впрочем, упоминает неохотно, коротко, и только по настоянию интервьюера (счастливый брак, дети, престижная профессия и материальная обеспеченность), респондент позиционирует себя в духе текстов о неприкаянной маргинальной интеллигенции: подчеркивает, что играл опальный джаз, слушал «Голос Америки», а его стихи и новеллы были отвергнуты. Он охотно излагает эпизоды «гонимости» (его отец, выходец из семьи зажиточных казаков, горный инженер, воевал в свое время и за белых, и за красных, стал ярым коммунистом и атеистом, был арестован в 1937 году по доносу друга и выслен со всей семьей), но там, где повествование логически выходит к его сегодняшней успешности, резко обрывает свой рассказ. Реальная успешность дисгармонизирует с его внутренним сценарием отверженного, сценарием, к которому он так заботливо и красиво выстроил декорации:

В школе нам преподавали профессора и доктора наук – все репрессированные из Ленинграда. Был даже академик, но ему запретили преподавать, и он работал завхозом в школе и ходил с колокольчиком, объявляя перемены... Но обхождение их с нами было очень уважительным. В отличие от преподавателей истории и географии... Преподаватель истории была секретарем парторганизации. Это была одинокая, маленькая, но подвижная женщина с крикливым голосом и язвительно-высокомерным выражением лица. Она без особых усилий оскорбляла любого ученика, делая это с особой изощренностью и явным наслаждением, публично... Новый директор школы ... постучал мне по лбу своим жестким пальцем на глазах всего класса, стоявшего в тупом онемении, и сказал: ... «Надо будет, выгоним всех и не только тех, кто разглагольствует про генетику и кибернетику. Вражье отродье! И с родителями где надо поговорят». На перемене мне вручили мое личное дело и отправили домой. Я «разглагольствовал» незадолго перед этим среди сверстников о

будущем кибернетики. Необходимо отметить, что два года назад мой друг, сын бывшего директора школы, в сильном подпитии просил у меня прощения за то, что тогда именно он «заложил» меня, а потом съездил в Артек – пионерлагерь для «избранных».

Высокая литературность этих воспоминаний далеко не случайна. В некоторых случаях можно даже обнаружить литературный канон, которому следует тот или иной респондент, выбирая под него соответствующую сюжетную форму. Так, жизненная история рассказчицы Б18 (врач, 1942 г.р.) явственно отсылает слушателя к декабристскому мифу, как он сложился в русскоязычной культуре от А. Пушкина, А. Герцена, Л. Толстого, Н. Некрасова и М. Цветаевой до культового советского фильма «Звезда пленительного счастья», снятого в 1975 г. Основание для сюжетного соотнесения предоставляют рассказчице аристократические корни ее семьи и офицерская (как и полагается дворянам) профессия ее отца, мужа и сына. Своего мужа она именует «красавцем-кавалергардом», что воскрешает в памяти не только популярную песню из вышеназванного фильма, но и образ главного героя картины. Себя она видит, соответственно, «женой декабриста» (послушно переезжая за мужем из гарнизона в гарнизон). Уже первая фраза, с которой она начинает свое интервью, представляет собой цитату из Пушкина (человека «декабристского круга»): *«Корни моей семьи – это все дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».*

Поскольку «офицерская честь» подразумевает прежде всего верность Родине, рассказчица категорично заявляет, что репрессии не могли коснуться их «верной» семьи:

...репрессии были тому, кто не согласен был с тем строем, который шел. У нас кто не согласен был, мои предки, они уехали все за границу. А кто согласен, здесь все были довольны и радовались и стройкам, и развитию государства нашего, и все были за Отечество.

Хотя понятие «офицерской верности» прямо противоречит мятежному свободолюбию декабристов, рассказчица не замечает этого смыслового конфликта в своем сценарии, и, вопреки своей декларируемой лояльности, сообщает, что хотела бы:

... изменить то, что хотели изменить герои 1825 года. И 1812 года. Это самые любимые мои герои на земле, и больше для меня других героев нет. Я их чту, и я их знаю, я еще с 5-го класса все читаю ... Я преклоняюсь перед ними, и я хочу, чтобы сейчас было то, чего они хотели и за что они шли. Но они-то были – кто? Князья были. Все, рожденные у трона, но они хотели, чтоб народ хорошо жил, чтоб не было бедных, чтобы все были богатые и счастливые. Вот этого я хочу. А так – я не знаю, кто еще этого хочет. Если бы кто хотел, так мы бы пенсии по 3 тысячи и по 4 тысячи не получали, а получали бы тысяч по 15 и не шли в соцзащиту с протянутой рукой.

Снова включившийся патриотический мотив «офицерской верности Родине» побуждает нашу героиню прервать критические замечания в адрес власти и закончить свое интервью оптимистической цитатой из посвященного декабристам стихотворения Пушкина:

Я думаю, что все равно все будет хорошо, это просто такое время, немножко, чуть-чуть, а хорошо все будет. Россия наша встрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!

Таким образом, «противоречия» памяти о прошлом оказываются прежде всего противоречиями между накладывающимися друг на друга дискурсами, языками говорения об этом прошлом, когда с сюжетными формами и литературными клише активно взаимодействуют политические риторика, модернизаторские или традиционалистские, интериоризированные респондентами: сталинская, «оттепельная», брежневская, «диссидентская», «перестроечная», «демократическая», «патриотическая» [7]. Иногда избранная сюжетная форма вступает в резкий диссонанс с политическим дискурсом, в других случаях это сочетание выглядит вполне гармонично.

Среди собранных мной рассказов роман и комедия как сюжетные формы встречались гораздо чаще, чем трагедия и сатира. Возможно, это связано с тем, что итоги, подводимые человеком на закате жизни, должны быть хотя бы иллюзорно позитивными. Человеку на пороге смерти важно ощутить примирение с действительностью и с самим собой. Можно предположить, что формат романа или комедии лучше сочетается с биографической тканью. Наконец, возможно и самое простое объяснение: романы и комедии больше изучают в школах, активнее экранизируют и чаще читают. На роман или комедию «брежневский» или «путинский» дискурс ложились одинаково гладко. Осмысление жизни в виде сатиры или трагедии требовало, конечно, «разоблачительных» интонаций (питательный коктейль из «оттепельных» и «перестроечных» образов).

Можно ли при всем этом говорить о «десоветизации» памяти, или ситуация с нашим культурным прошлым остается на самом деле гораздо более сложной, мне кажется интересной темой для дискуссии с открытым финалом.

Литература

- 1 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и полит. идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 50–55.
- 2 Лурье С. В. Национализм, этничность, культура : категории науки и истор. практика // Общественные науки и современность. 1994. № 4.
- 3 Мертес М. 1968-й как миф // Неприкосновенный запас. 2008. № 4.
- 4 Нуркова В. В. Свершенное продолжается : психология автобиограф. памяти личности. М. : Изд-во УРАО, 2000. С. 181.
- 5 Уайт Х. Метаистория : истор. воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002. С. 28–30.
- 6 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М. : Новое издательство, 2007. С. 28.
- 7 Черепанова Р. С. «Жили хорошо, потому что не знали, как мы живем...» : опыт и проблемы интерпретации уст. биограф. рассказов // Мир историка: историограф. сб. / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Омск, 2010. Вып. 6. С. 318–346.
- 8 Черепанова Р. С. Устная история: от «социальных рамок памяти» – к обретению субъекта // У пошуках властного голосу: усна історія як теорія, метод, джерело : зб. наук. ст. / за ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. Харків, 2010. С. 192–202.
- 9 Smith A. The Ethnic origins of nations. Oxford, 1986.